

Денис Лихатов

ДВА РАССКАЗА

НИЗШАЯ МЕРА

1

Обвинение было настолько абсурдным, что все — судьи, прокурор, товарищ прокурора, следователь, свидетели обвинения, свидетели защиты, присяжные, не говоря уже об адвокатах, и даже конвой — сочувствовали обвиняемому, понимая, что дело его шито белыми нитками, и он-то уж точно невиновен, но все почему-то завертелось и сложилось так криво и некстати, что теперь, увы, ничего не попишешь, и вердикт будет «виновен», а приговор — самым суровым. Возможно даже, в виде исключения, отменят на несколько дней мораторий на низшую меру.

— Да, да, да, не удивляйтесь, именным, совершенно, разумеется, секретным, но указом, сами знаете кого, — вздыхал прокурор во время перерывов на чай.

Он, прокурор, был, в сущности, не злым человеком, балагуром и пьяницей, и во время перерывов развлекал всех байками из своей обширной практики. Судьи и адвокаты слышали все это уже не по разу, да и сами могли бы рассказать чего и похлеще, поэтому были снисходительны и не мешали ему. Присяжные, наоборот, слушали, раскрыв рты, уважительно, боясь даже отхлебнуть чая, чтобы не дай бог не подумали, что им неинтересно. Один подсудимый, кажется, был равнодушен и к прокурорским побасенкам, и к своему будущему. Единственное, что его хоть сколько-то занимало, что же это за *низшая мера* — никогда он о такой не слышал — и никто не мог ему толком ответить. Прокурор юлил. Адвокат смеялся, говорил, что «это прокурор жути нагоняет», и никто, конечно, не станет из-за его дела отменять трехсотлетний мораторий. Судейские приставы и чиновники — те вообще лишь пожимали плечами и понятия не имели, в чем она, эта низшая мера, состоит.

Ото всех судейских почему-то воняло рыбой. На прокурора было жалко смотреть: от него постоянно несло перегаром, да так, что не то что очки, а даже сами глаза, казалось, запотевали изнутри. От адвоката пахло мягкой карамелью. От присяжных — вареной картошкой.

2

Сами заседания суда, по давней традиции, всегда совмещались с трапезой и проходили почти в домашней обстановке, чтобы не сильно пугать обвиняемого. Судья, например, являлся в халате и ночном колпаке, прокурор, хоть и был в форме, но обут был в домашние розовые тапочки с помпонами, и только адвокату полагалось быть неизменно в мундире с эполетами, в сапогах со шпорами и в парике с буклями. По устоявшемуся обычаю он еще перевязывал левый глаз черной повязкой, хотя одноглазым и не был. Считалось, что он должен видеть в обвиняемом только хорошее, а злое, которое можно было бы разглядеть левым глазом — не замечать. Правда, прокурору почему-то разрешалось иметь оба глаза, и на правом он повязки не носил. Присяжные должны были присутствовать на заседаниях абсолютно голыми. Подсудимому полагались казенные фрак и цилиндр. Но размеры не всегда можно было подобрать, и поэтому очень часто они были или до смешного малы, или невозможно велики, что и так, и эдак выглядело, разумеется, нелепо. К тому же гардероб уже много лет не обновлялся, и все было заношено до такой степени, что у любого, кто видел человека в таком костюме, неизменно возникало желание подать милостыню его носителю. Процессы, как правило, были открытыми, но публика давно уже потеряла к ним интерес, и поэтому все зрители в зале были нанятые за небольшую плату проходимцы.

Прения прокурора и адвоката были замаскированы под обсуждения кулинарных достоинств или недостатков тех или иных блюд, которые якобы приготовил обвиняемый, и случайному зрителю часто было невозможно понять, о чем идет речь на самом деле.

Например, прокурор говорил:

— Есть эти щи невозможно: пересолены, а мясо недоваренное, да и капуста в них гнилая!

На что адвокат возражал:

— Зато десерт удался на славу: давно не пробовал такого замечательного овсяного киселя, а уж брюква с цукатами — выше всяких похвал. Да и на щи вы зря наговариваете — вполне съедобная похлебка, там только перчику не хватает, и еще петрушка не помешала бы.

Но понять истинного значения этих фраз было совершенно невозможно, и даже сами прокурор и адвокат, спроси их приватно, не смогли бы, скорее всего, ничего пояснить.

— Дань традиции, а по-нашему, порожняк голимый! — пожимал плечами бывалый каторжанин, а ныне присяжный заседатель, весь в синеве татуировок, когда новичок, клацая зубами от холода и чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей о горячем чае, попытался узнать у него, что же вся эта белиберда означает.

3

Сам же подсудимый, поначалу с интересом наблюдавший за действиями прокурора и адвоката, воспринимая процесс как своеобразную, пусть и нелепую, но игру, забавный театр сумасшедших актеров, постепенно, отчаявшись понять хоть слово, уловить хоть какую-то нить или логическую связь в рассуждениях, совсем потерял к ним интерес. Ему единственному разрешалось курить в зале суда, и он без конца смолил одну за другой дешевые папиросы, тупо смотрел перед собой, и все терзала его одна-единственная мысль — он-то здесь зачем, почему он соглашается играть в эти дурацкие игры, зачем послушно исполняет назначенную ему роль? Почему было просто не уйти? Вот просто встать, затушить папиросу и уйти, не говоря ни слова. Но сделать это было отчего-то совершенно невозможно. За окнами по улицам катилось чудесное московское лето — солнечное, но не знойное, без изнуряющей жары, а приходилось сидеть здесь, в душном помещении, и слушать бубнеж прокурора, задорную чушь адвоката, сопение судьи, видеть кислые рожи присяжных, к тому же голых, словно ощипанные курицы, рассматривать от тоски сыпь веснушек на жирной шее рыжего конвоира и континенты потных пятен на его же гимнастерке на широкой спине... Однажды, прямо посреди пламенной речи адвоката, в зал суда с улицы забежал

ребенок — маленькая девочка лет пяти или шести — и удивленно уставилась на присутствующих. Адвокат испуганно замолк, словно ребенок мог ему помешать, и тоже уставился на нее, а вслед за ним на ребенка обернулись и все остальные. С полминуты длилось всеобщее оцепенение, а потом хлопотливая, но, видать, нерасторопная нянька, квохча, просунулась наполовину в дверной проем, сгрэбла девочку в охапку и, пятась, унесла ее. Еще какое-то время из коридора доносились ее удаляющиеся шаги, тяжелые и шаркающие, и задыхающиеся причитания:

— Ну что ты за егоза, Надя? Куда тебя вечно несет!

За много недель процесса это было единственное интересное и не бессмысленное происшествие, которое, возможно, и могло бы рассеять затянувшийся морок, если бы не помешала вот эта бестолковая нянька.

4

Наконец настал день объявления приговора. Присяжным по такому случаю разрешили нацепить на шею галстуки-бабочки, сам судья вместо халата облачился в парадную пижаму с орденской лентой и сменил колпак на парик, адвокат и прокурор, хотя и были одеты, как и всегда, но выглядели какими-то торжественными, словно бы выглаженными, и осознание важности момента сквозило в каждом их движении, а у прокурора даже платочек, которым он постоянно протирал очки, был явно новым, только вчера выстиранным, отглаженным, и к тому же был опрыскан каким-то одеколоном. Зрители, обычно гудевшие, словно потревоженный улей, на этот раз притихли, попрытав свои пироги, булки, всякие там коврижки, которыми они раньше, не стесняясь, закусывали прямо во время заседаний, запивая их тут же кто простоквашей, кто квасом, а кто чем и покрепче.

Открывая заседание, судья произнес несколько ритуальных фраз, например: «Напоминаю, что трансляция запрещена, а потому прошу отключить сотовые телефоны и другие средства мобильной связи». Фраза была абсолютно бессмысленна, потому что никаких «сотовых телефонов и других средств мобильной связи» давно уже ни у кого не было, и никто даже не то что не помнил, а просто не знал, что это вообще такое, а уж о «трансляции» и гово-

речь не приходилось. Считалось, что это такая же дань традиции, как и накрахмаленные парики или эполеты у адвоката.

— Ну-с, — продолжил судья после завершения протоколно-ритуальной части, обведя присутствующих вопросительно-ехидным взглядом, — как говорили в старину: и кто мне разрежет этого гуся? — И подмигнул обвиняемому.

В зале зашептались, заелозили, загомонили. Даже присяжные, забыв о том, что они голые, в одних только галстуках-бабочках, с интересом вытягивали шеи из своей клетки в сторону зала так, что сразу стали похожи на семейство опят на тонких ножках, облепивших гнилой пень, и тоже о чем-то зашептались.

Наконец смельчак нашелся. А за ним еще один. И еще. И еще двое. В итоге их набралось пятеро. Оживление в зале нарастало, наверняка нашлись бы и еще желающие, но секретарь сделал знак, что достаточно, и все постепенно утомонились, а те пятеро вышли на середину, на всеобщее обозрение.

5

Судья удовлетворенно хмыкнул, оглядев пятерых добровольцев, вытянувшихся перед ним во фронт.

— Итак, господа, — обратился он к ним, — вы знаете, что по итогам наших прений и согласно вердикту присяжных заседателей, обвиняемый приговорен к низшей мере наказания.

— Да, господин судья, нам это известно, — ответили нестройным хором эти пятеро.

— Но на низшую меру, — продолжил судья, — государством наложен мораторий, который неукоснительно соблюдается вот уже более трехсот лет, и потому само государство не может привести приговор в исполнение.

Все присутствующие затаили дыхание.

— Поэтому эта почетная обязанность будет возложена на вас как на частных лиц. Все ли вам понятно, судари мои, и в полной ли мере осознаете вы ответственность, которую берете на себя?

— Да, господин судья, мы осознаем, — промычала в ответ пятерка.

— Прекрасно, — ответил судья и три раза призывно хлопнул в ладоши.

На этот его сигнал откуда-то из-за спинки огромного судейского кресла, за которым, оказывается, находилась потайная дверца, в зал явился очень толстый и румяный человек в поварском колпаке и в фартуке, заляпанном жирными пятнами и, кажется, кровью.

— Проводите наших гостей на кухню, — обратился к нему судья, — и выдайте все необходимые инструменты.

Человек в колпаке и фартуке ничего не ответил, а только кивнул этим пятерым, показывая следовать за ним, и вновь исчез за спинкой судейского кресла. За ним, гуськом и на цыпочках, проследовали и также исчезли и пятеро добровольцев.

Судья же подозвал секретаря и, наклонившись, прошептал ему на ухо:

— Распорядитесь снабдить присутствующих приборами и салфетками и положить свежую скатерть на общий стол.

Секретарь понимающе кивнул и удалился исполнять поручение, а судья, потирая ладонки, обратился, наконец, к обвиняемому:

— А вам, любезный, предоставлено право на последнее слово. Есть что сказать?

И тут все в замешательстве переглянулись, у судьи от удивления даже парик съехал на самый затылок, а ярко-красная орденская лента на пижаме как будто вмиг полиняла аж до светло-серого.

Он торопливо вставил монокль в орбиту глазницы, чтобы лучше рассмотреть, ахнул от изумления, и монокль тут же выпрыгнул обратно, словно пробка из бутылки шампанского...

6

Дело в том, что выгородка с обвиняемым оказалась пуста. Вернее, не совсем пуста, но самого обвиняемого там не было, а на его месте, на стуле, сидел и в самом деле самый настоящий, самый обычный гусь, правда, настолько тощий, что было очевидно — на стол он явно еще не годится. Гусь с интересом и удивлением озирался по сторонам, время от времени безмолвно разевая клюв. Когда и в какой момент обвиняемый просто встал и ушел и кто посадил на его место гуся — было не совсем понятно, никто этого не заметил. Конвоиры же, охранявшие его, два бестолковых «валенка», один рыжий, а другой белобрысый, теперь только удивленно

хлопали глазами и переглядывались, а под вопросительными взорами судьбы и остальных присутствующих зачем-то начали обыскивать друг друга, неуклюже хлопая один другого по толстым бокам, задницам, ляжкам.

— Вот он! — радостно завизжал адвокат, указывая куда-то в окно.

Все обернулись.

И правда, за окном, по тенистой липовой аллее, уводящей от Дворца Правосудия, шел обвиняемый, спешно сдирая с себя на ходу фрак, жилет, манишку, кружевные манжеты.

Адвокат, раскрыв окно и высунувшись наружу до пояса, закричал ему вслед призывно и ласково:

— Куда же вы, голубчик? Так нельзя! Вы испортите нам праздник! Возвращайтесь скорее: все самое интересное еще впереди. А то ведь так и не узнаете, что же это за низшая мера такая! Куда же вы? Куда?

Адвокату почудилось, что обвиняемый обернулся и показал ему в ответ язык, и, чтобы получше рассмотреть эдакую дерзость, он даже сдвинул на лоб свою черную повязку, закрывающую левый глаз, но на самом деле ничего подобного не было, а обвиняемый шагал, не оборачиваясь. Цилиндр, который он снял и выбросил в самом начале пути, еще едва ступив под липы, пытался было нагнать его и еще долго катился за ним, подгоняемый ветром, подпрыгивая на кочках, но, в конце концов, отстал и он, и закатился куда-то вбок, в канаву.

7

Дойдя до конца аллеи и уже полностью освободившись от казенной одежды, бывший обвиняемый, все время ускоряя шаг, перешел почти на бег. А выйдя из-под лип и оказавшись на набережной, уже и вовсе бежал. Но бежал он не потому, что за ним гнались или он чувствовал погоню. Нет: ему в голову пришла вдруг сумасшедшая, хулиганская, почти преступная мысль. С разбега вскочив на парапет набережной, он, что есть силы, оттолкнулся от холодного камня. Случившиеся тут же гуляющие замерли, как вкопанные, и уставились на него, разинув рты.

Полицейский, охранявший выход из аллеи и решивший в этот час тоже немного пройтись по набережной, схватился за свисток, а сопровождавший его дворник взял наизготовку метлу, словно это было ружье, и попытался даже прицелиться. Но вспомнив, что это всего лишь метла, сказал только:

— Сейчас бултыхнется.

Но против всякого ожидания бывший подсудимый не только не «бултыхнулся», как предсказывал мудрый дворник, а совсем даже наоборот — взмыл в самое небо и полетел.

— Ишь ты, — только и мог сказать дворник, задирая голову все выше и выше.

Полицейский же, опомнившись, засвистел, что есть мочи, в свой свисток, отчаянно надувая щеки до такой степени, что, казалось, кожа на них вот-вот полопается. Свист, набухая, переливался трелями и катился по набережной все дальше и дальше. Беспокойным и звонким лаем откликнулось на него несколько мелких собачонок, гулявших тут же со своими хозяйками. Все это, смешавшись и закрутившись в невидимый вихрь, понеслось вверх, вслед за дерзким летуном, но не возымело на него совершенно никакого действия. Когда же он и вовсе скрылся из виду, все переглянулись и продолжили гулять, как будто ничего и не случилось. Только какой-то мальчуган подошел к тому месту, откуда начал свой полет этот странный человек, посмотрел на каменную тумбу, почесал за ухом, пожал плечами, да и пошел своей дорогой.

ГРЫЖА

Папаша у Грыжи был ментовским генералом, причем не каким-то зажравшимся и охамевшим от вседозволенности «упырем», с необъятным пузом и заплывшими свинячьими глазками, а «идейным», правильным: в свои пятьдесят два года шутя выполнял норматив по физподготовке для двадцатипятилетних, взяток не брал, да еще две Чечни у него за плечами. Автомобиль на совершеннолетие сыну он, правда, подарил, но «мажорить» не советовал, предупредив сразу: если какая беда на дороге — поймают ли его пьяным за рулем, или, не дай бог, собьет кого, или авария со смертельным исходом — на него пусть не рассчитывает, служебные связи под-

ключать и отмазывать не буду, получишь, сына, «на всю катушку». Так и сказал: на всю катушку. И повторил еще раз, стиснув зубы и даже побледнев, словно это уже произошло, словно Грыжа въехал уже на скорости под двести в толпу на автобусной остановке:

— Учти, ежели что, за все ответишь сам.

И даже глаза почему-то прикрыл. И Грыжа поверил — и правда ведь, не отмажет. И пальцем не пошевелит. А может быть, он втайне даже и мечтает об этом, чтобы Грыжа что-нибудь подобное натворил и попался, вляпался в историю и чтобы все ахнули потом, когда папаша выйдет в парадном мундире при всех своих орденах за обе Чечни и скажет: «Да, мой сын виноват и ответит за все по закону, по всей строгости». И тут все: о! вот это настоящий русский офицер! Не стал сынка выгораживать, а по «заслугам» сдал его куда следует — закон для всех закон. Хо-хо! Ну как такого кристально честного не приметить? Тут его, конечно, сначала в какую-нибудь тьмутаракань на службу ушлют на Урал или в Сибирь, или опять на Кавказ, ну это так, для проформы, ненадолго, года на два, чтобы вроде и его тоже наказать, а там он порядок наведет, каких-нибудь местных чинуш за взятки причешет — ему еще одну звездочку на погоны, кто у них, у ментов, после генерала? — и снова в Москву вернут, а там, чем черт не шутит, глядишь, и в замминистры пригласят, а он еще ломаться будет. Что, папа, не так? Поди, любишь себя, глаз не отвести. Хоть кино про тебя снимай.

— Нет, не так, — сказал отец, и Грыжа аж вздрогнул тогда: мысли он, что ли читает или насквозь его видит?..

Впрочем, ничего похожего никогда не случилось: Грыжа не проявил вкуса к подобного рода выходкам, пьяным за рулем не ездил, скоростью не увлекался и вообще пользовался машиной редко, так и не привыкнув к ней, не сумев почувствовать своей в полной мере. Еще тогда, в самый момент дарения, мелькнула у него мысль подарка не принять. Нет, не швырнуть, конечно, ключи папаше в лицо, а просто, повертев их в руке, спокойно положить на стол и сказать: «Спасибо, папа, но как-нибудь обойдусь». Но не хватило духу, особенно вот после этого отцовского «нет, не так». Что бы он подумал тогда? Что Грыжа не согласен сам отвечать за свои поступки, и, если папаша не намерен его при случае выручать, то и не нужен ему такой подарок? Да еще и Ермолов с портрета, обернувшись, посмотрел вдруг так грозно — почти как в детстве, — словно

не Грыжу увидел, а самого Шамиля. Поэтому, прожевав и скомкав во рту что-то невнятное, вроде «не переживай, папа, все будет хорошо», сунул ключи в карман и вышел из кабинета, словно ошпаренный, словно и не одарили его, а наоборот отчитали, как за двойки в школе.

Хотя и не отчитывали его никогда, и двоечником он не был, а учился вполне сносно, и пусть не блистал оценками, но краснеть за него не приходилось. Однако вот эта «пришибленность» на фоне такого отца почему-то так и тянулась из детства. И вот теперь он тоже долго еще переживал этот разговор, *рефлексировал* — что опять мямлил, словно на допросе, как, впрочем, и всю жизнь. Что, наверное, папаше и самому за него стыдно — за такого вот увальня. Ну, в самом деле: он, например, в пятьдесят два года на турнике подтягивается тридцать два раза и «солнышко» крутит, или как там это у них называется, а Грыжа за всю свою жизнь так никогда и не смог не то что хотя бы разок подтянуться — даже и просто допрыгнуть до этой перекладины самостоятельно у него не получалось. Так почти все десять лет и проходил в школу с освобождением от физкультуры.

Об армии речи, конечно, не шло. Хотя отец и предупредил, что в будущем это может быть серьезным минусом в биографии, и, если что, на госслужбе, например, выше майорских должностей не подниматься. Но Грыжа заверил отца, что о такой карьере и не помышляет. Еще и пошутил тогда про петровский указ — «рыжих в службу не брать», а я, мол, у тебя рыжик, — правда, получилось как-то кисло, да и опять мямлил.

И вот это негодство — все наперекор, все не по-вашему — так и лезло из него всю дорогу. Ну почему бы и правда не гордиться таким отцом, не стараться быть на него похожим? А вот нет, не дождетесь! А вот я и буду такой, каким уродился, — рыжий и жирный, и себе на уме, — а не таким, как вы хотите. И вместо гордости за папу — какой-то непонятно откуда взявшийся стыд, словно разбухающий от слез, который с годами только пухнет и пухнет, растет, будто позорная грыжа в паху, из-за которой, чтоб ее не было видно, приходится брюки на два размера больше покупать, а все равно ее не спрячешь, все равно уже угадывается.

Особенно стыдно было на разводах или построениях, куда отец брал его пару раз еще совсем «мелким» — то ли оставить было не

с кем, то ли насмотрелся дореволюционных хроник, где царь с наследником парады принимают, — поди, знай, что у него в голове, кем он там себя возомнил, две контузии все же. И вот стоит он перед строем или там марширующими «коробками» — весь такой нарядный, подтянутый, «пуговицы в ряд», ордена сверкают, кокарда на фуражке блестит, правая рука в белой перчатке к виску как пришпилена, — а сам и не шелохнется, только зрачки за «коробками» движутся: влево-вправо, влево-вправо. А рядом — смешной рыжий пончик в курточке с Микки-Маусом и в шапке с помпоном, и уже в туалет хочет и переминается с ноги на ногу. Хорошо еще, если так обходилось, хотя тоже приятного мало. А уж если отцу приходилось говорить... И ладно бы просто командовал, что там по уставу положено! Но однажды, еще полковником, он взял его на присягу к «вэвэшникам» и там толкнул им такую речугу про долг, честь, Родину, воинскую доблесть, одно слово — идейный, — что Грыжа просто не знал, куда от срама глаза девать, и казалось ему, что если б папаша там прилюдно, при всем параде, сейчас обмочился, ему и то меньше было бы стыдно за него.

Хотя, возможно, Грыжа весь этот стыд придумал потом, задним числом, когда стал взрослее: ну ведь был же он когда-то нормальным ребенком, обыкновенным мальчишкой, которого все эти марширующие солдатики должны были приводить в восторг, а уж то, что папа такой красивый и все его здесь слушаются — еще и переполнять гордостью и счастьем! Но вот теперь ему почему-то помнилось, будто уже и тогда коробило его ото всей этой воинской мишуры, и от того, что отец говорит, как в телевизоре.

Но папаша, казалось, ничего этого никогда не замечал — ни того, что сыну бывает из-за него неудобно, ни того, что растет он совсем на него не похожим, ни того, что сторонится вообще всего, что с ним связано. И это иногда бывало еще обиднее — ему все равно, что ли? Смотрит только — а в глазах, как у волка, пусто: ни тебе одобрения, ни осуждения, ни даже презрения, — посмотрит и отвернется, словно и здесь на службе.

Лишь однажды, еще в школе, когда Грыжа, понукаемый насмешками одноклассников, решил все-таки научиться за лето подтягиваться, папаша обратил на него внимание. Тогда, на даче, Грыжа начал каждое утро, пока все спят, тренироваться вот на том самом турнике, на котором отец «солнышко» крутит. При-

таскивал из кухни табуретку — иначе до перекладки не допрыгнуть, — взбирался на нее и, оттолкнувшись так, что табуретка, отбежав в сторону, с глухим грохотом валилась на землю, прыгал вверх, будто пытался вынырнуть из болота, хватался за холодную и скользкую от росы перекладину, а дальше... Все только пыхтел и тужился, висел, как тяжелая переспевшая груша: руки в локтях не гнулись, ладони со скрипом скользили по холодному металлу, живот предательски отвисал и тянул вниз, будто и правда напихали в него гнилых груш, а ноги болтались в пустоте, как у висельника. И вот на четвертый или пятый день таких «тренировок» отец заметил его, подошел — был уже в форме, вызвали с утра на службу, что-то у них там случилось, пришлось самого генерала из отпуска «вызванивать», — и сказал (Грыжа даже не понял тогда, пошутил он или серьезно):

— Не надо тебе, Виталик. А то у меня котята в груди мяукают, когда я на это смотрю. Книжки лучше читай.

Отец уехал тогда на службу, а Грыжа, мешком свалившись с турника, весь день потом прослонялся по дому и саду — и все хотел разреветься, но не получалось, а только такой жар бил изнутри, такая обида полыхала, что, казалось, кожа на лице сейчас полопается, как на печеном яблоке.

И вот тогда, слоняясь по огромному пустому дому, по запущенному и гулкому саду, пиная еще прошлогодние полусгнившие груши, валяясь на мокрой лужайке на заднем дворе, Грыжа все-то про себя понял и то ли увидел, то ли придумал, то ли напроорочил себе всю свою будущую жизнь. Вплоть до таких мелочей, как автомобиль на совершеннолетие, вплоть до бесформенных вельветовых брюк или безразмерных рыжих свитеров, которые он проносил всю молодость, думая скрыть свою нелепую грушевидную фигуру, и которые наоборот делали ее только крупнее и заметнее. Вплоть до своей же рыжей «капитанской» бороды, которую он зачем-то отпустил после школы, и которая лет до двадцати все равно росла какими-то неопрятными ключьями, и над которой все смеялись. Даже увидел этих двух дурочек, которые уже в институте на спор пытались его «клеить», ведясь на отца-генерала. И даже тот вечер тоже увидел, когда отец, вернувшись, застанет его чуть ли не в бреду и уложит в огромную кровать, закопает в одеялах, соорудит ему на голове чалму из полотенца и будет поить чаем с ма-

линой, а Ермолов с портрета, обернувшись, посмотрит почему-то так грозно, словно в этой чалме признает в нем имама Шамиля, и Грыжа попросит отца портрет перевесить, и он перевесит его в кабинет... А потом снова институт, какая-то вечеринка в общежитии по случаю первой сессии, и одна из тех дурочек, зажав его в углу на диванчике, прижавшись к нему, приобняв, обволакивая со всех сторон, словно дымок от ментоловой сигаретки, спросит, откуда у него такое смешное прозвище, а Грыжа ответит, что это не прозвище вовсе, и, высвободившись из ее объятий, достанет из заднего кармана неизменных вельветовых брюк помятый паспорт, раскроет его, ткнет в разворот толстым пальцем с черным ободком под ногтем, и там, в графе фамилия, и правда будет написано — Грыжа. Она на время «зависнет» от удивления, прикидывая, готова ли она, если что, тоже стать Грыжей. А потом Грыжа, выходя из туалета, случайно услышит ее разговор на кухне с другим парнем из их группы, который будет удивляться, зачем ей этот «рыхлозатый задрот», чего она вьется вокруг него? А она скажет: зато у него отец — боевой генерал. На что этот долговязый глист заблеет, словно задыхаясь от смеха, согнется пополам, даже отлипнет от нее и потом, сплюнув сквозь зубы, процедит то, что Грыжа боялся услышать всю свою жизнь, сколько себя помнил: тоже мне боевой, тоже мне генерал — каратель! В драке, которая последует через секунду, он все-таки расквасит Грыже физиономию и, может быть, даже сломает нос, но когда девчонки будут щебетать над Грыжей, вытирая кровь, обрабатывая раны водкой, заклеивая их пластырем, долговязый испугается и будет извиняться, просить Грыжу ничего не рассказывать отцу, предлагать выпить «на брудершафт» в знак примирения. Грыжа ничего не расскажет, но и пить не станет. Потом долговязый отвезет Грыжу домой на его же машине, подаренной отцом всего две недели назад, высадит его у ворот вот этого самого дома, бросит ему ключи, а сам, нырнув в такси, растворится в обморочной тишине подмосковного январского утра. До конца института и еще некоторое время после, пока отца-генерала не уволят, долговязый будет навязываться Грыже со своей дружбой, боясь, что тот припомнит ему когда-нибудь эту драку. Но Грыже теперь и навсегда будет не до таких мелочей, как расквашенный нос. Слова долговязого о карателе взрывают настолько глубинный подзол памяти, отзовутся таким гулким эхом в мозгу, что будто бы

вспугнут душу и она, словно птица, улетит. Думать такое об отце будет трудно и страшно. Он никогда не рассказывал о войне, но Грыже теперь будет казаться, что он и без него знает, как это бывает и как это всегда и было. Но почему-то в его представлении отец превратится в Ермолова, в мундире с красным воротником-стойкой и наваристыми золотыми эполетами, а отцовские «собровцы» и «омоновцы» — в ермоловских же солдат в серых от пыли шинелях и с ружьями вместо карабинов. И вот, перед самым рассветом, они заходят в село. Идут цепью, с нескольких сторон сразу, чтобы никто не ушел. Во двор каждого дома через высокие каменные заборы сначала бросают гранаты, а потом, пока еще не улеглись поднятые взрывами клубы дыма, заходят сами и стреляют в любую мелькнувшую тень. Потом так же заходят в дом. В одном большом доме по ним в ответ тоже стреляют. Несколько солдат убиты. Этот дом забрасывают гранатами особенно долго, несмотря на детские и женские крики. Когда выстрелы и крики смолкают, идут дальше. Через четыре часа все кончено. Ермолов отдыхает, сидя у шатра на барабане, и принимает доклады от командиров рот, заходивших в село с разных сторон. Один из командиров докладывает, что в том доме, из которого стреляли, чудом спасся один ребенок, почти младенец, мальчик лет двух, самое большое трех. Ермолов приказывает принести его. Мальчика приносят. Он тяжело ранен: во время взрыва его придавило обрушившейся балкой, и теперь, если он и выживет, в животе у него вырастет пребольшая грыжа. Солдат из него будет никакой. Почему-то Ермолов решает оставить его в живых и даже взять к себе в дом, усыновить или сделать просто воспитанником.

— Разве он будет что-нибудь помнить? — спрашивает Ермолов полкового доктора.

— Помилуйте, Алексей Петрович, это ж почти зверушка.

Солдаты выходят из дымящегося и разрушенного села, выносят своих убитых, перевязывают раненых, строятся. Мальчика поручают доктору. Он относит его в генеральский обоз.

И вот все это — и солдат, и Ермолова, и своих будущих институтских подружек, и этого долговязого, и драку с ним, — Грыжа увидел тогда таким же ясным и неотвратимым, каким видел каждое утро желтое пятно на своей белой простыне. Даже того спасенного Ермоловым мальчика он увидел, и словно змея уползла

из-под сердца, когда он заметил, что мальчишка, кажется, совсем на него не похож: черненький, чумазый, смуглый, дикий.

Вечер уже заглядывал в окна, а Грыжа все слонялся и слонялся по дому и саду, словно в бреду. Ничто за весь день не могло выдернуть его из этого морока. Мать в полдень звала его обедать, но никакой матери у него давно не было, сестра, шутя, кинула в него теннисным мячиком, но никакой сестры не было вообще никогда, старший брат, пробегая мимо, смеясь, отвесил ему оплеуху, но и брата тоже никогда не существовало. И пожалуйста, теннисный мяч лежит там, где ему и положено, — в корзине с другими мячами; оплеуху ему отвесила старая яблоня, когда он проходил мимо, а откуда-то с южной стороны налетел внезапный порыв ветра; обед — вот он, на кухне, на столе, приготовлен приходящей домработницей.

Но кроме матери, сестры, брата не хватало еще кого-то или чего-то, и даже не в доме, таком огромном и просторном, что здесь могло бы жить много и сестер, и братьев, а в самом пейзаже вокруг, вон там, за высоченным забором. Чего-то такого, что еще выше, чем этот забор, такого, что ни за какими заборами не спрячешь. Отчего-то Грыже казалось, что на самом-то деле здесь, вокруг дачи, вместо сосен и елок или сразу за ними, должно быть что-то еще, что-то огромное-преогромное, невероятно прекрасное и большое, и потом как будто близкое, находящееся почти рядом, на расстоянии ну не вытянутой руки, конечно, но получасовой велосипедной прогулки — точно. Грыжа ощутил — и от этого его теперь бросило в холод, — что он как будто бы даже вспомнил, именно вспомнил, что они должны были здесь быть, что они здесь когда-то, пусть и очень давно, но были, были, были!.. Он жмурился, тер кулаками глаза почти до слез, потом снова смотрел туда, где должны были быть горы, но их не было.

